
Трагедия Герцена, или Искушение радикализмом*

В.К. КАНТОР

Рассказать о Герцене – значит понять, как развивалось радикальное движение в России, понять центр, смысл, противоречия русской культуры до двух революций 1917 года. Да и потом именем Герцена клялись как большевики, так и либералы. В общественное сознание крепко была вбита повторенная Лениным мысль Огарева, что “Герцен первый снова разбудил наше уснувшее свободомыслие, дал первый толчок нашим потребностям народной свободы и нового гражданского устройства. <...> Герцен разбудил самые спящие умы; все ринулись к одной мысли, – народного освобождения. Дело могло быть понято так или иначе, но движение уже не могло остановиться. Это хорошо знает человек, который дает первый толчок движению. Это закон механики. От этого за Герценом и останется первоначальное стремление к освобождению” [Огарев 1988, 159]. А потом прозвучали канонические строки Ленина о том, что декабристы разбудили Герцена... А уж он стал звонить в “Колокол”.

Именно этот образ человека, будущего России, вызывал раздражение отечественных диссидентов. Так возникла поэма Наума Коржавина под тем же названием, что у Огарева и Ленина, – “Памяти Герцена”:

Любовь к Добру разбередила сердце им,
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло.
И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.

Вместе с тем именно с помощью Герцена, через его тексты, Натан Эйдельман и другие исследователи вводили многие темы, понятия и фигуры, запрещенные или заглушенные советской пропагандой. Именно Герцен казался очень долго сторонником либерализма, да и сейчас кажется таковым – и не без оснований попал в энциклопедию “Российский либерализм: идеи и люди”. Кара-Мурза справедливо назвал его “либералом и демократом одновременно” [Кара-Мурза А.А. 2000, 142]. Особенно активно обращались со-

* “Индивидуальный исследовательский проект В.К. Кантора, профессора философского факультета ГУ-ВШЭ № 10-01-0033 “Крушение кумиров: критический пафос русской философии” выполнен при поддержке Программы “Научный фонд ГУ-ВШЭ”.

© Кантор В.К., 2010 г.

ветские инакомыслы к его последнему тексту “К старому товарищу”, где он выступил против Бакунина, Нечаева, Огарева, показав увиденный им, наконец, катастрофизм радикального пути. Но именно к этому пути он прежде призывал с фантастической энергией. В 1848 г. он писал: “Что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему, – и это прекрасно, а потому – да здравствует хаос и разрушение!” [Герцен 1954–1964 VI, 48].

Струве как-то заметил, что “Герцен мил нам, дорог, велик, не как публицист, не как мыслитель, не как художник. Сквозь все эти “виды” его существования выступает нечто более важное, более ценное, более несомненное” [Струве 1997, 282]. Он имел в виду очень внятную вещь. Если Герцен везде талантлив, но нигде не первый, то почему же остается он проблемной фигурой русской культуры? И Струве поясняет свою мысль: его “борьба, конечно, стояла в теснейшей связи с его существом, была ярким излучением этого существа. Но именно только излучением чего-то еще более важного, коренного, ценного. *Герцен был воплощением свободы как вечной стихии человеческого духа* (курсив мой. – В.К.). Он всегда боролся, всегда сомневался, всегда искал – и в этой борьбе с другими и с собой, в этих исканиях всегда был свободен, несмотря на всю свою пылкость, более того, страстность” [Струве 1997, 289]. Именно эта жажда свободы определила и его характер – фантастически деятельный, характер человека, пытавшегося влиять на действительность.

Эту жажду влияния он пытается реализовать, создав на Западе неподцензурную прессу, он заводит в Лондоне типографию. В своей типографии Герцен издает разнообразные сборники – “Голоса из России”, альманах “Полярная звезда”, и, наконец, самый популярный орган эмигрантской печати – газету “Колокол”. Чаадаев писал, что символ России – колокол, который не звонит (“царь-колокол”, как проявление рабской немоты русской культуры). Вспоминался также и колокол Великого Новгорода с вырванным по приказу Грозного языком. Слово бы в ответ своему великому предшественнику Герцен начинает бить в колокол, звонить в колокол, “звя живых”, тех, кто еще способен проснуться от “мертвого сна” николаевского царствования. Эпиграф – *Vivos voco* – был взят из “Песни о колоколе” Фридриха Шиллера, точнее, из эпиграфа к этому принципиальному для немецкого классика стихотворению:

Но кого он будил? К кому обращался?

Первый номер “Колокола” вышел в Лондоне с датой 1 июля 1857, действительная дата выхода – 22 июня 1857. В 1857–65 “Колокол” выходил в Лондоне – до февраля 1858 ежемесячно, затем два раза в месяц или еженедельно. Последний номер вышел 1 июля 1867. С 1 янв. по 1 дек. 1868 Герцен и Огарев выпустили 15 номеров газеты “KoloKol” на французском. В 1870 Огарев вместе с С.Г. Нечаевым сделали попытку возобновить “Колокол”. Вышли 6 номеров, значительно отличавшихся по своему направлению и содержанию от прежнего, герценовского “Колокола”. Издание не расхodziлось. Это стоит отметить в контраст с тем, что тиражи герценовского “Колокола” достигали фантастической для того времени цифры – 2,5–3 тыс. экз.

В первом номере “Колокола” было опубликовано “Письмо к издателю” за подписью “Р.Ч.” т.е. Русский человек”. Известно, что текст этот написан Огаревым, который обсудил и осудил либеральные тенденции первых трех выпусков “Голосов из России”. “Ваш станок, – обращался он к издателю, – не принадлежит к разряду тех станков, которые равнодушно печатают объявления о пропавшей собачке и указ правительствующего сената. Ваш станок есть отражение известного направления, известных требований. Ваш станок имеет свой цвет, как журнал, как книга, и вы, как издатель, не можете принять в свое издание всякой всячины. Всякий издатель есть цензор, потому что всякая книга должна иметь единство” [Колокол 1957, 3–4]. Устами Огарева Герцен как бы давал себе разрешение, если к тому будет повод, уйти от либеральных свобод. А ведь Герцен создавал Вольную русскую типографию, то есть предоставил свой типографский станок в распоряжение *всем* проявлениям свободной русской мысли, создал для каждого вольнодумного русского человека возможность высказаться, некую гарантию, что мысль не погибнет. Он желал сделать свою типографию и свои издания “убежищем всех рукописей, тонущих

в императорской цензуре, всех изувеченных ею” [Герцен 1954–1964 XII, 270]. Он печатал даже своих явных противников. Но еще больше он пугал правительство, торопя реформы. С одной стороны, он описывал продолжающиеся чудовищные явления крепостного права, с другой – грозил правительству новой пугачевщиной. Собственно, с этого он начал свою вольную прессу. Первая листовка, вышедшая из его типографии (1853 г.), звучала явной угрозой. Еще до всяких восстаний в селе Бездна, пообещав в статье “Юрьев день! Юрьев день!”, новую пугачевщину: “Страшна и Пугачевщина, но скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено” [Революционный радикализм в России 1997, 57]. Но все же реформаторские мотивы, особенно поначалу, были сильнее.

“Новым в деятельности Вольной типографии, – писал Н.Я. Эйдельман, – была борьба за максимально возможную в тех условиях широкую *массовую основу*” [Эйдельман 1966, 238]. Думаю, Эйдельман здесь либо слухавил, либо пошел на поводу инерционной мысли. Как писал он сам в многочисленных своих исследованиях о “Колоколе”, газету прежде всего читали сановники, император, короче, “верхние десять тысяч” (Ленин)”. Это не обращение к партии, не создание партии.

Это как раз попытка повлиять на движение реформ, идущих сверху. 15 февраля 1858 г. Герцен писал в “Колоколе”: “Что касается до нас – наш путь вперед назначен, мы идем с тем, *кто освобождает и пока он освобождает*; в этом мы последовательны всей нашей жизни. Как бы слаб наш голос ни был, все же он *живой голос*, и как бы наш *Колокол* ни был мал, все же его слышно в России, а потому скажем еще раз, что мы убеждены, что Александр II не равнодушно примет приветствие людей, которые сильно любят Россию, – но так же сильно любят и свободу. <...> Они желали бы, что Александр II видел в них представителей свободной русской речи, противников всему останавливающему развитие, во всем ограничивающем независимость – *но не врагов!*” [Герцен 1954–1964 XIII, 197].

Обращаясь к императору, Герцен произносит знаменитые слова Юлиана-отступника: “*Ты победил, Галилеянин!*” [Герцен 1954–1964 XIII, 197], тем самым приравнивая императора к Христу. Дальше уж говорить не о чем!

“Колокол” – результат позиции нового императора Александра II, начавшего в России широкие реформы. И успех “Колокола” естественно обуславливался тем, что он оказался нужен прежде всего самим реформаторам. Как вспоминал Герцен в “Былом и думах”, реформаторы обращались к нему “для справок по крестьянскому вопросу”, а император и императрица читали газету как бюллетень с прошениями к ним. Сам Герцен писал в том же номере газеты, где он сравнивал императора с Христом: “Желая непременно донести до сведения государя об этих мерах, загораживающих от него истину, – мы в первый раз посылаем “Колокол” в запечатанном пакете на его имя и причем в собственные руки” (XIII, 199). Любопытно отметить, что, значит, среди доверенных людей Герцена имелся некто, имевший прямой доступ к императору. “Колокол” был нужен новым реформаторам как сторонняя и в то же время не чужая, русского происхождения трибуна для обсуждения проблем общества и государства. Отсюда его процветание в течение нескольких лет.

Но в его обращении к императору прозвучала характерная оговорка: “пока освобождает”. А исторического терпения у Герцена не было. Конечно, он не был ни политиком, ни государственным деятелем, он был мечтателем, а в мечтах все просто делалось.

Уже 25-й номер “Колокола” от 1 октября 1858 г. содержал “Письмо к редактору”, с очевидным пафосом – давлением на правительственных реформаторов. Мол, не поторопитесь – хуже будет: “Слышите ли, бедняки, – нелепы ваши надежды на меня, – говорит вам царь. – На кого же надеяться теперь? На помещиков? Никак – они заодно с царем и царь явно держит их сторону. На себя только надейтесь, на крепость рук своих: **заострите топоры, да за дело – отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу!** (выделено мной. – В.К.) За дело, ребята, будет ждать да мыкать горе: давно уже ждете, а чего дождались? У нас ежеминутно слышим: крестьяне наши – бараны! Да, бараны они до первого Пугача. <...> Бараны – не стали бы волками! Войском не осилить этих волков!” [Колокол

1958, 201–203]. Автор вроде бы не Огарев, но характерен пафос, близкий Огареву. Как замечал Н. Эйдельман, “именно эта часть письма вызвала в России большой общественный резонанс. Непосредственной реакцией <...> был знаменитый обвинительный акт Б.Н. Чичерина” [Эйдельман 1999, 271].

Если реформы пойдут недостаточно быстро, полагал Герцен, то революцию нужно ждать из России. Главной силой будет указанная Бакуниным красота смерти, о которой писал и Герцен: “Проповедуйте весть о смерти, указывайте людям каждую новую рану на груди старого мира, каждый успех разрушения; указывайте хилость его начинаний, мелкость его домогательств, указывайте, что ему нельзя выздороветь, что у него нет ни опоры, ни веры в себя, что его никто не любит в самом деле, что он держится на недоразумениях; указывайте, что каждая его победа – ему же удар; проповедуйте *смерть* как добрую весть приближающегося искупления” [Герцен 1954–1964 VI, 76].

Этот преступный эстетизм в отношении Герцена к общественной жизни в России очень хорошо увидел Борис Чичерин, блистательный историк, как и Герцен, выученик гегелевской философии, но прочитавший ее не как “алгебру революции”, а как путь к реальной, обеспеченной всеми средствами свободе личности и преодолению произвола в жизни с помощью государства. Стоит вчитаться в его “Письмо к издателю “Колокола””, опубликованном в газете в 1858 г., где впервые указывалось на того, кто, по его мнению, звал “Русь к топору”: “Вы к гражданским преобразованиям довольно равнодушны. Гражданственность, просвещение не представляются Вам драгоценным растением, которое надобно заботливо насаждать и терпеливо лелеять как лучший дар общественной жизни. Пусть все это унесется в роковой борьбе, пусть вместо уважения к праву и к закону водворится привычка хвататься за топор – Вы об этом мало тревожитесь. <...> Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу – вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в России много сочувствия!” [Чичерин 1998, 368].

Но почему – топор? Топор – это мифологически отработанное в интеллигентском сознании оружие крестьянского бунта¹. А бунтовать должны крестьяне, ибо община несет в себе элементы социализма, то есть будущего. Герцен полагал, что наличие общинной структуры в крестьянской жизни есть необходимый элемент, зародыш, являющийся своеобразной, но *живой* формой социалистической организации жизни, до которой Европа додумалась *теоретически*. “Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно дождала *до развития социализма в Европе*” [Герцен 1954–1964 VII, 323]. Для Герцена открытие общины, как фактора “коммунистической организации” русского крестьянства, означало уход Европы (у которой, как ему казалось, не было такой формы жизни) с исторической арены и замену ее Россией.

Если люди культуры, утверждал он, не пойдут навстречу народной революции, то либо произойдет беспощадный пугачевский бунт, либо самодержавие, опираясь на обманутый им народ, все равно раздавит просвещение: “В обоих случаях вы погибли, а с вами и то образование, до которого вы доработались трудным путем, оскорбительными унижениями и большими неправдами” (XII, 83–84). Западники упрекали Герцена в славянофильстве, что он подбивает идти учиться мудрости у неграмотного русского народа, забыв свои европейские пристрастия и симпатии. Герцен отвечал: “Вы любите европейские идеи, – люблю и я их... <...> Но вам не хочется знать, что теперичная жизнь в Европе несообразна ее идеям” [Герцен 1954–1964 XII, 425]. Западу он противопоставлял свою веру в Россию.

Об этой герценовской вере довольно жестко высказался С. Булгаков: “Что противопоставлял Герцен европейскому мешанству, которое его так глубоко оскорбляло, и почему он считал Россию призванною осуществить идеи Запада? Ответ поражает своей несообразностью, своим несоответствием вопросу, и в этом опять сказывается вся огра-

ниченность мировоззрения Герцена: потому, что в России сохранилась всеми правдами и неправдами поземельная община и признание в ней права всех на землю. <...> В этом фатальном несоответствии вопроса и ответа, размаха и удара есть что-то поистине трагическое... Герцен снова и со всей силою ударяется головой о границы своего позитивного мирозерцания, которое слишком тесно для его запросов. И на вопрос, заданный Фаустом, неожиданно отвечает Вагнер” [Булгаков 1993, 129]. Но Вагнер, как известно, создал Гомункула, который не подчинился своему создателю. Был ли Гомункул у Герцена? Гомункул был – это Нечаев и компания. И еще: ответы Вагнера сродни разговорам Смердякова, который убийством отца Федора Павловича Карамазова, как ему казалось, разрешил теоретические метания и терзания Ивана Карамазова.

Эта смердяковско-вагнерианская (назову ее так) тенденция чувствовалась с самого начала колокольного звона за рубежом. Как я уже упоминал, Герцен свое вольное книгопечатание начал угрозой. И вот поразительно, что накануне освобождения крестьян Герцен печатает печально знаменитое “Письмо из провинции”. Напомню, что автор этого письма, опубликованного в “Колоколе”, вполне серьезно заявлял: “Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не может!” [Революционный радикализм в России 1997, 84]². И подписывался не как-нибудь, а в твердой уверенности, что выражает мнение *всех* – “Русский человек”, показывая тем самым, что сущность национальной психеи, достижение национального единства видит в кровавой мясницкой резне. Действительно, традиция насилия имела слишком много адептов. Этот путь, как понятно, был утвержден в отечественной ментальности после большевистской революции эпохой ленинско-сталинского террора. Текст очень долго приписывался Чернышевскому. Но можно вообразить и другую картину: в одной комнате один друг пишет “Письмо из провинции”, обсуждая с единомышленником наиболее удачные выражения, а потом чисто по-журналистски они пытаются отвести удар от “Колокола”, и издатель довольно вяло возражает своему якобы оппоненту. Не случайно в своем ответе автору “Письма из провинции” (в том же номере), он как бы даже продолжает и усиливает его логику: “Призвавши к топору, надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план, силы и готовность лечь костями, не только схватившись за рукоятку, но схватив за лезвие, когда топор слишком расходится? Есть ли все это у вас?” [Герцен 1954–1964 XIV, 243]. Далее он добавляет на всякий случай, словно отрекаясь от публикации, что *не из Лондона надо звать к топорам* и кончает свой текст аллилуйей: “Кто же в последнее время сделал путного для России, кроме государя? Отдадимте и тут кесарю кесарево!..” [Герцен 1954–1964 XIV, 244]. Прямее угрозу не выскажешь. Если не делаете, то берегитесь! Вот смысл его послания.

Я помню свой разговор с Н. Эйдельманом, когда я сказал, что отрицаю авторство Чернышевского, ибо автор этого письма проговаривается, сообщая, что жил в “глухой провинции” во время крымской войны, но Саратов никогда не был глухой провинцией, да к тому же в это время Николай Гаврилович уже переехал в Петербург, а в провинции застрял другой совсем человек, будущий эмигрант. “Вы намекаете на Огарева? – задумчиво спросил Эйдельман. – Действительно “Р.Ч.” и “Русский человек” его постоянные псевдонимы. Но чтобы друг Герцена – вряд ли... Во всяком случае, ясно, что это не Чернышевский”. Я не думал тогда об Огареве, но быстрота реакции моего собеседника показала, что он-то думал именно о нем.

Факт общеизвестный, что постоянные псевдонимы Огарева – “Р.Ч.” и “Русский человек”. Надо также добавить, что одну из первых своих публикаций в вольной печати в 1857 г. в “Полярной звезде” Огарев назвал “Письмо из провинции”. Так что публикация в 1860 г. в “Колоколе” нового “Письма из провинции” за подписью “Русский человек” достаточно прозрачно сообщала читателям о едином авторе обоих текстов. Не забудем и того, что одним из главных энтузиастов уже с конца 50-х гг. создания тайной революционной организации всероссийского масштаба был не Чернышевский, а именно Огарев. Существенно добавить, что в предисловии “От редакции” к пресловутому письму Герцен не раз называет это письмо дружеским, что вряд ли бы он сделал по отношению к авторам “Современника” – Чернышевскому и Добролюбову, о которых он всего год назад опубли-

ковал статью “Very dangerous!!!”, где назвал оппонентов “милыми паяцами” и предсказывал им правительственную службу и “Станислава на шею”. Вряд ли эти люди могли выступить с призывом к топору, это не из их арсенала.

И, правда, Огарев, друживший во второй эмигрантской жизни скорее не с Герценом, а с Бакуниным, называвшим страсть к разрушению творческой страстью, активно поддерживавший Нечаева, больше подходил этому письму, нежели ироничный и осторожный Чернышевский, считавший самым важным не гибель, а жизнь человека. В конце 60-х Огарев выступил уже открыто с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации “Гой, ребята, люди русские!..”:

“Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие! <...>
Подымайтесь добры молодцы
На разбой – дело великое!”

Позиция Герцена в пред- и пореформенную эпоху (1857–1863 гг.) достаточно противоречива. Он метался от упований на Александра II к революционным призывам бакунинского толка. Веря в силу “образованного меньшинства”, считая “лишних людей” своего рода революционным ферментом, он не принимал последовательного “просветительского пафоса” Чернышевского, полагавшего, если уж революция неизбежна, то необходим серьезный подготовительный период. “Трезвое понимание громадных трудностей, стоящих на пути исторического развития России от азиатчины к цивилизации (и уж затем только к социализму), – пишет И.К. Пантин, – резко отличает его (Чернышевского. – В.К.) как от современников, в частности от Герцена, так и от последующего поколения русских революционеров. Смешно преувеличивать значение крестьянской общины, когда в стране нет элементарных условий цивилизации, таких, например, как грамотность населения. Смешно надеяться, что, оставаясь отсталой, Россия сможет прийти к социализму быстрее более развитых стран Европы” [Пантин 1973, 100–101]. В том же году Чернышевский ездил в Лондон к Герцену, где он хотел увести его от анархистско-радикального пафоса, напомнив о его европейских принципах полемики: Герцен извинился перед “Современником”, но спустя год в статье “Лишние люди и желчевики” снова напал на его идеи.

Напомню строчку Тютчева, которая сказана была в ином контексте, но ее можно применить и к этой ситуации: “Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется”. Слово Герцена отозвалось не там, где он ожидал. Его слова “надобно овладеть движением, надобно иметь организацию, надобно иметь план” подействовали совсем на иную часть общества, не на реформаторов, а на радикалов. Внимательными читателями именно этих строк стали будущие бесы.

Волонтаризм герценовской позиции сказался и в его призывах 1861 г. в “Колоколе”. Это было время разрозненных крестьянских бунтов, студенческих волнений, жестоко и кроваво подавляемых самодержавием. Чернышевский полагал, что эти стихийные выступления ни к чему, кроме ненужных жертв, не приведут. Вот почему он в своей знаменитой прокламации “Барским крестьянам от их доброжелателей поклон” призывал: “Покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить. <...> Это значит только дело портить да себя губить. <...> А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли” [Революционный радикализм в России 1997, 91–92]. В этом контексте “колокольные” обращения Герцена к студенчеству звучали крайне радикально и безжалостно: “Не жалейте вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей истории, вами Россия входит во второе тысячелетие, которое легко, может быть, начнется с изгнания за море” (“Третья кровь”, 10 ноября 1861 г. [Герцен 1954–1964 XV, 185]). Речь шла об изгнании немецкой династии, как понимал Герцен вслед за Бакуниным царствующий дом Романовых. Этот бешеный антиевропеизм был вполне в духе русских радикалов, с презрением относившихся к Европе. Разумеется, к прямому радикализму, прямым высказываниям без маски псевдонима был повод.

После Манифеста 19 февраля об освобождения крестьян в апреле того же года в селе Бездна произошло крестьянское восстание во главе с Антоном Петровым, который объявил, что Манифест обманной, никакого оброка больше не надо платить и т.д. Восстание было подавлено войсками. Герцен, пару месяцев спустя призывавший студентов проливать кровь, полон возмущения от “пролития крестьянской крови в Бездне” [Герцен 1954–1964 XV, 107] и пишет в “Колоколе” от 15 июня 1861 г.: “Мы не узнаем России... кровь дымится, трупы валяются! <...> И что за торопливость в казни Антона Петрова? Кто его судил? В чем его судили? Видно, скорее кровавые концы в воду! Какие же в самом деле мягкодушный царь дал инструкции?” [Герцен 1954–1964 XV, 107–108]. Казалось бы, полный разрыв с императором-реформатором! Но 15 августа 1862 г. в статье “Журналисты и террористы” (“Колокол”, лист 141) он снова обращается к императору, а не радикалам: “Стань царская власть в главу народного дела, где найдется достаточная сила, могущая бороться с ней и ей противудействовать во имя своекорыстных интересов касты, сословия?” [Герцен 1954–1964 XVI, 225].

Чернышевский предлагал в своей прокламации “Барским крестьянам от их доброжелателей поклон” (март 1861) крестьянам иное – брать за образец социальное и политическое устройство Западной Европы (французов и англичан): “У французов да и англичан крепостного народа нет. <...> У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит, для всего народа староста, и народ, значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует. <...> И при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и французы живут” [Революционный радикализм в России 1997, 89, 100]. А нигилисты (в листовке “К молодому поколению”) возражали, да резко: “Хотят сделать из России Англию и напитать нас английской зрелостью. <...> Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком. <...> Мы не только можем, мы должны прийти к другому. В нашей жизни лежат начала вовсе не известные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. <...> Европа не понимает, да и не может понять, наших социальных стремлений; значит, она нам не учитель в экономических вопросах. Никто нейдет так далеко в отрицании, как мы, русские. <...> У нас нет страха перед будущим, как у Западной Европы; вот отчего мы смело идем навстречу революции; мы даже желаем ее” [Революционный радикализм в России 1997, 98, 99, 100]. И даже Герцен в этой их отчаянной крайности был им далек.

Молодые волки, молодая эмиграция, уже скалили зубы на Герцена, заявляя, что он отжил свое, что он не способен к реальному действию. Единственное, что им нужно было от Герцена, – это материальная поддержка их экстремистских проектов. Но Герцен был человек мужественный, действительный боец. Он не боялся самодержавия, не испугался и Нечаева с компанией, не поддался и на уговоры старых друзей – Огарева с Бакуниным. Он категорически отказывается предоставить Нечаеву Бахметевское наследство. Более того, Герцен пишет цикл из четырех писем “К старому товарищу”, обращенный к Бакунину, отчасти к Огареву, но глубоко внутри – к себе лично. В этом цикле он заново рассматривает, с какой-то прозорливой мудростью все те проблемы, которые когда-либо поднимал.

Как Достоевский всю жизнь шел к своей речи “Пушкин” (мотивы которой отчетливы в его более ранних произведениях), так Герцен, можно сказать, всю жизнь шел к двум диаметрально противоположным по пафосу текстам – “Письму из провинции” и “Письма старому товарищу”. Оба эти текста связаны с именем Огарева.

Эта работа – из лучших работ Герцена. Если юную, полную горечи, сарказма, ужаса и тоски по поводу “гибели Европы” книгу “С того берега”, которую сам Герцен называл своей лучшей книгой, сопоставляли (как отмечал сам Герцен: [Герцен 1954–1964 V, 223–224]) с пророческими книгами Иеремии и Исайи, то эту можно бы сравнить с Экклезиастом. Эти письма – своего рода подведение итогов. Завещание и Предупреждение. Это был, пожалуй, наиболее сильный удар по народившемуся русскому экстремизму. Причем ударом с той стороны, с какой они его не ожидали. Слишком много весило слово Герцена в революционных кругах. Написав эту работу, он скоростижно скончался. Уж очень много внутренних сил забрал у него этот небольшой по объему, но чрезвычайно насы-

щенный по содержанию цикл писем. Надо сказать, бесы испугались, услышав о наличии этого теста. И попытались всеми силами остановить публикацию последних бумаг Герцена. Не будем гадать о причинах смерти Герцена, но вот дальнейшая реакция Нечаева весьма показательна. Приведу отрывок из воспоминаний Тучковой-Огаревой: “В то время мы занимались печатанием посмертного издания Герцена. Почему-то Нечаев и компания узнали, что в этом томе будет статья о нигилистах, и потому я получила по почте из Германии бумагу, озаглавленную “Народная расправа”; послание это, очевидно, было написано в Женеве; в нем запрещалось печатать сочинения необдуманного, но талантливого туеядца Герцена, и что если я и его семья его не послушаемся этого предостережения, то будут приняты против нас решительные меры” [Тучкова-Огарева 1959, 260]. Стараниями А.А. Герцена (старшего сына) эти произведения вышли в свет в том же, 1870 г.

Основной пафос этой работы – отказ от анархистски волюнтаристского революционаризма. “Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и дошлит, – пишет он Бакунину, но это “нас” характерно, это и к себе обращение, – она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо ли это или нет? В этом весь вопрос” [Герцен 1954–1964 XX, 576].

Если в предыдущих своих работах, торопя в России социалистический переворот, Герцен с большим сомнением относился к пролетариату Западной Европы, надеясь, что в России его вообще не будет, что все проблемы социалистического переустройства разрешит именно крестьянство, отрицая город как отжившую структуру общественного развития: “Сельские народонаселения Запада нам кажутся его резервом, народом *будущей* Европы, *по ту сторону* городской цивилизации и городской черни, по ту сторону правительствующей буржуазии и по ту сторону утягивающих все силы страны столиц” [Герцен 1954–1964 XIV, 173]. Зато теперь в крестьянстве он видит резерв и защиту старого порядка: “С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона... Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое” [Герцен 1954–1964 XX, 584]. Поэтому, говоря: “Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу” [Герцен 1954–1964 XX, 586], – Герцен уже иначе воспринимает идеи отступления в варварство, казавшиеся ему некогда столь продуктивными: “То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слышали голоса, призывающего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть – *власть разума и понимания*. Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации” [Герцен 1954–1964 XX, 589].

Такая позиция вызвана явным перевесом в тот момент “левых радикалов” в русском революционном движении, радикалов, не только грозивших разрушить всю культуру прошлого, но и вообще перечеркнуть историю: не случайна ориентация Нечаева на Бакунина с его идеей анархического насильственного разрушения. Но Герцен, указывая на беспочвенность и утопизм бакунинских построений, задает иронический, и вместе страшный вопрос Бакунину о *методах* его будущего устройства: “Не начать ли новую жизнь с сохранения специального корпуса жандармов?” [Герцен 1954–1964 XX, 585]. Теория должна опираться не на выдуманный и идеальный народ, а на реальный, потому и нельзя навязывать истории вычитанные из книг схемы. Теперь о таких проповедниках Герцен пишет: “Старые студенты, жившие в отвлеченьях, они ушли от народа дальше, чем его заклятые враги. Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше прямых связей с массами, чем они” [Герцен 1954–1964 XX, 589].

Утверждая сложность исторического процесса, Герцен высказывает сомнение в правомерности тотального разрушения прошлого, и прежде всего искусства и культуры: “Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и *силой хранительной* (курсив мой. – В.К.). Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобразное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую... И кто же скажет

без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом и отходящем не было много прекрасного и что оно должно погибнуть вместе с старым кораблем” [Герцен 1954–1964 XX, 581]. Традиции Герцена в этой борьбе за культуру тем более остаются актуальными, что сам он, будучи человеком весьма разносторонне и широко образованным, готов был поначалу принять “грядущих гуннов”, принять и одобрить разрушение нового Рима – Европы и петербургской России, но его посетил своего рода исторический страх, историческое прозрение. Реальный опыт столкновения с “молодыми штурманами будущей бури” переубедил его, и тем взвешеннее и точнее прозвучали его слова, ибо были глубоко лично пережиты и перечувствованы.

Отказ новых радикалов от “слова” ради “дела” доказывал Герцену их духовную несостоятельность: “Как будто *слово* не есть *дело*? Как будто время слова может пройти? Враги наши никогда не отделяли *слова* и *дела* и казнили за *слова* не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за *дело*... Расчленение *слова* с *делом* и их натянутое противоположение не вынесет критики, но имеет печальный смысл как признание, что все уяснено и понято, что толковать не о чем, а нужно исполнять” [Герцен 1954–1964 XX, 587]. На упреки, что он, по сути, защищает капитал, Герцен отвечал, что он защищает “капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен” [Герцен 1954–1964 XX, 593]. Еще несколько лет назад Герцену казалось, что без тотального разрушения нельзя. Но сила его как личности была в том, что, видя развитие жизни, убеждаясь опытом в своей неправоте, он не боялся сказать это открыто, даже возражая своей прежней защите бунтовщика Антона Петрова: “Честно мы не можем брать на себя ни роль Аттилы, ни даже роль Антона Петрова. <...> Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку³ и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной” [Герцен 1954–1964 XX, 588, 592]. Герцен выступает против разрушительных анархистских идей, отстаивая завоевания цивилизации: “Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те *пределы* сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации”. И искусство, которое он считал истинно революционным явлением в духовной жизни человечества, как раскрепощающее личность, не может быть подвергнуто уничтожению: “Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказала статуй, картин, памятников, – нам не приходится играть в иконоборцев” [Герцен 1954–1964 XX, 593].

Такого рода работы входят в сокровищницу историко-философской мысли человечества. Миновать их мыслителю, думающему о путях развития человечества, невозможно. Беда в том, что такого рода тексты не желают воспринимать так называемые делатели истории. Но человечество пишет свою вечную книгу, в которой собираются лучшие тексты мыслителей разных стран, своего рода Исторический Завет. Эта работа Герцена безусловно там находится и, быть может, учитывается в каком-то высшем разумении о судьбах человечества. Разумеется, все художественно-философское творчество Герцена может доставить наслаждение полетом мысли и широтой исторических и культурных ассоциаций. Вместе с тем этот мыслитель не дает решения поставленных им проблем. Он сам остается проблемой. Но в остроте, доведенности до крайности, открытости его мысли опыту истории – духовный урок его творчества. Задача его потомков этот урок усвоить.

Хочется закончить этот текст строчкой П.Б. Струве: “Свободный дух Герцена не знал никаких кумиров и не боялся никакой правды” [Струве 1997, 291]. Можно сказать, что с известным расширением: эти слова применимы практически ко всем крупным русским мыслителям.

ЛИТЕРАТУРА

Булгаков 1993 – Булгаков С.Н. Духовная драма Герцена / Булгаков С.Н. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Наука, 1993.

Герцен 1954–1964 – Герцен А.И. С того берега / Герцен А.И. Собр. соч. В 30-ти т. М., АН СССР, 1954–1964.

Достоевский 1972–1990 – *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

Кара-Мурза А.А. 2000 – *Кара-Мурза А.А.* “Свобода лица – величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа” / Русский либерализм: идеи и люди М.: Новое издательство, 2000.

Колокол 1957 – Колокол. Л. 1, 15 июля 1857 г.

Колокол 1958 – Колокол. Л. 25. 1 октября 1858 г.

Огарев 1988 – *Огарев Н.П.* Памяти Герцена / *Огарев Н.П.* О литературе и искусство. М.: Современник, 1988.

Пантин 1973 – *Пантин И.К.* Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М.: Политиздат, 1973.

Революционный радикализм в России 1997 – Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация под. ред. *Е.Л. Рудницкой*. М.: Археографический центр, 1997.

Струве 1997 – *Струве П.Б.* Герцен / *Струве П.Б.* *Patriotica*. Политика, культура, религия, социализм. М.: Республика, 1997.

Тучкова-Огарева 1959 – *Тучкова-Огарева Н.А.* Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1959.

Чичерин 1998 – *Чичерин Б.Н.* Письмо к издателю “Колокола” / *Чичерин Б.Н.* Философия права. СПб.: Наука, 1998.

Эйдельман 1966 – *Эйдельман Н.Я.* Тайные корреспонденты “Полярной звезды”. М.: Мысль, 1966.

Эйдельман 1999 – *Эйдельман Н.Я.* Свободное слово Герцена. М.: Эдиториал УРСС, 1999.

Примечания

¹ Для Достоевского это вообще провокация черта, имеющая всемирный, надмирный, межпланетный смысл. Напомню, что в разговоре Ивана Карамазова с чертом о бесконечности пространства вдруг всплывает тема... топора. “– А там может случиться топор? – рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. ... “Топор? – переспросил гость к удивлению. “Ну да, что станет там с топором?” – с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович. “Что станет в пространстве с топором? *Quelle idée!* Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника”. [Достоевский 1972–1990 15, 75]. Образ фантастический и страшный, бессмысленный (“не зная зачем”) и полный угрозы всему человечеству топор крестьянской войны. Темы Герцена не оставляли мысль Достоевского.

² Письмо из провинции опубликовано в “Колоколе” 1 марта 1860 г. за подписью “Русский человек”.

³ Так, Бакунин, обращаясь к молодым радикалам (март 1869 г.), писал в памфлете “Несколько слов к молодым братьям в России”: “Не хлопчите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая несомненно народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народа” [Революционный радикализм в России 1997, 213].